

МНЕ ХОТЕЛОСЬ УЗНАТЬ...

ШЕРЕМЕТЬЕВО

Так широка страна моя родная,
что залегла тревога в сердце мгlistом,
транзитна, многолика и легка.

Тверская вспыхивает и погасает,
такая разная: военная, морская;
и истекает в мерзлые поля.
Там, где скелет немецкого мотоциклиста
лежит, как экспонат ВДНХ.

За ним молчит ничейная земля,
в аэродромной гари светят бары,
печальных сел огни, КамАЗов фары,
плывущие по грани февраля
туда, где нас уж нет.

И слава Богу. Пройдя рентген,
я выпью на дороге
с британским бизнесменом молодым.
В последний раз взгляну на вечный дым
нагого пограничного пейзажа,
где к черно-белой утренней гуаши
рассвет уже подмешивает синь.

* * *

Аллея длинная вдоль холма,
слева ферма, скала –
осколок окаменевшего века.
Река не видна, но едва слышна.
Почти до лета следы усталого снега.

Эту дорогу я когда-то узнал:
каждый куст и ствол.
Вижу тебя за глухим поворотом,
там, где к дороге подходит бунинский суходол.
Где только кажется,
что ждет тебя кто-то.

В легком небе холм, но города на нем нет.
Все как в России: дол, чащи, веси и кущи.

Мой нос в табаке, душа тончает в вине.
И в просторном моем картонном шатре
десять женщин пекут
предназначенный хлеб насущный.

* * *

Химчистка, девки, кот уставший
Бредет на цепи в городской окрестности.
Здесь, в государстве орла и решки,
Я занимаюсь подпольной деятельностью.

Виртуальная жизнь, ветра от гавани
На излете зимы к сетям астении.
Уплывает облако в дальнее плавание
И оседает на дальнем сервере.

Имперский путь за кордоном тянется,
Пылит дорога навстречу Аппиевой.
Вряд ли судьба до поры изменится,
Но пора уже выдавливать каплю

За каплей, что на лето задано.
Ветер гудит в проводах разлуки.
Скрипит турникет райского сада,
Чужая жена заломит руки.

А я привык. Вот, билет уже выписан.
Рожа на визе хоть в барак транзитом.
В метели мерцают бледные лица
На отмороженном том граните.

Метет поземка в полях безвременья,
Виза ветшает в столе одноразовая.
На будущий год – говорят евреи.
И последнее слово еще не сказано.

* * *

Цепь сигнальных огней над долиной Эйн-Керем –
Дальнобойным полетам к незримым деревьям
В бесконечную жизнь многослойных оливок,
В заминированный халцедонный залив.

Крепок мрамор холодный, расколотый воздух,
Где застыл истребитель, летящий на отдых.
Мы внизу, у ручья, в ожидании чуда,
Что пророки проснутся безоблачным утром,
Что вернется в скалу подземельная кровь
И погаснут огни поминальных костров.

Мимо древнего рва и арабских окопов
Старцы двинутся вниз по колючему склону

В нашу зыбкую жизнь, в евразийскую даль,
В ледяную молочную пыль и печаль.

Но останется облако пыли над станом,
Над глядящим налево живым караваном.
И когда я, устало коснувшись виска,
Двинусь, сзади возникнет Москва.

Я взгляну – и земля поплывет на прощанье
В дымном облаке дня, и погаснет свечение.
Я останусь один и закрою глаза,
И сквозь веки я увижу фигуру отца.

Это знак возвращенья к забытым пенатам,
К временным прямоугольным пеналам.
Там, где запах за завтраком кофе по-польски,
Где друг друга прощаем, но все еще просим,

Чтоб навстречу летело гортанное слово,
Чтобы эхом долины откликнулось снова
И разбилось беззвучно о скалы в Эйн-Керем,
Растекаясь листвой по масличным деревьям.

* * *

Так и болтаешься между TV и компьютером:
Хоть шаром покати, хоть Шароном.
С полуночи знаешь, что случится утром.
Вчерашний вечер прошел бескровно.

Только солнце село в пустыню сухой крови.
Мертвое море спокойно, как в провинции «Лебединое озеро».
Тени, как патрули, тают по двое.
И вся земля – это точка зеро.

Расстегни ворот, загори, помолодей, умойся.
Прохлады холмы Иерусалима утром.
Там сквозные, резкие, быстрые грозы
Обмоют красные черепичные крыши и
Без тебя обойдутся.
Кому там нужны твоя карма и сутра?

К вечеру маятник ужаса застынет в стекле безразличия.
Заботы затоном затягивают под надкостницу.
Жизнь-то одна, и она – неизбежная.
Вот она жизнь твоя – места имение личное.
Только крики чужих детей висят гроздью на переносице.

* * *

На самом деле они хотят,
чтобы я ходил по домам
от двери к двери,

разносил домашнее печенье на продажу
и всё равно оставался неопознанным.

Моя ошибка заключается в том,
что я всерьёз верю,
что они станут наблюдать за мной
из-за штор, как я ухожу вдоль квартала,
исчезая среди вязов в конце улицы.

* * *

Облако, озеро, только нету башни.
Дышу в пронизанном солнечном срубе.
Сосед Тургенев пройдет на охоту с ягдташем.
Зайдет, присядет за стол, Earl Gray пригубит.

Головой покачает: постмодернисты!
А потом вздохнет: Бедная Лиза.
Перед нами обоими лист стелется чистый,
Посидит, уйдет, вспомнив свою Полину.

Он уйдет, и стих его тает белый,
Как следы января в охлаждающей чаше.
Незримый джип затихает слева.
Слава Богу, Сергеич заходит все чаще.

Слава Богу, вокруг гудит заповедник,
И здесь, в глубине, нету отстрела.
Пусть это будет полустанок последний,
Где душу ждет небесное тело.

Летит оно, скорей всего, мимо.
Висишь среди крон в деревянном кресле.
Вокруг леса шелестят верлибром,
Да ветер гудит индейскую песню.

ПИСЬМО АЛЕКСАНДРУ РАДАШКЕВИЧУ ИЗ РУССКОГО МАГАЗИНА В НЬЮ-ЙОРКЕ

«А вам накатать или писиком?»
Слова летят быстрее мысли
К тебе, прекрасный Александр.

Здесь никогда вас не обвешают.
Глазами пробегаю весело:
Перцовка попадает в кадр.

А там уже киндзмараули
И саперави, и чхавери.
Вот экзистенция, вот – Сартр.

Икорка, как зернистый уголь,
Игривый, маслянистый угорь.
Из морозилки крепкий пар.

А там пельмени и вареники,
В корзинах и лукум, и финики,
А в рыбном карп, как Ихтиандр.

На эмигрантской фене ботают
Две одесситки (обе толстые),
Их губ негаснувший пожар.

О Александр, в газетах здешних
Так много объявлений грешных:
Виагра, девки и массаж.

Но в Бруклин редко водит леший.
Уйду к колбасам я, безгрешный,
Которых больше нету в США.

А водок сколько разноцветных,
То ярко-красных, нежно-бледных,
С акцизной маркой нежный воск.

И связки рыбин безответных,
У кассы дамы полусвета
И «блади мэри» кровный сок.
(кассирши долгий коготок)

На самом деле, Саша, грустно,
Что без тебя мне здесь так вкусно.
Все есть, но где же Солнцедар?!

И захватив грибков, капусты,
Грущу я о тебе и Прусте,
О Радашкевич Александр.

ДОМАШНЕЕ ЯЗЫЧЕСТВО

Моя дочь празднует Пейсах в “Хилел”,
сын встречает пасху с подружкой.
Они шатаются по кварталу,
меняются пасхальными яйцами
и, набегавшись, сооружают огромный
яичный салат.

Я – вишу на телефоне, матерюсь,
грешу и стараюсь заработать
на мацу и яйца, на страховку
всей моей жизни, обогнать время
и, как всегда, произвести впечатление
на ту, из далекого прошлого,
хотя она того и не стоит.

Господь, превратившись в нашего кота,
дремлет в углу,
не обращая на нас никакого внимания,

думая свою думу,
ожидая следующего жертвоприношения.

* * *

Вечером пытался привести в порядок
мысли, книги на столе, две подушки,
тени, к окну прильнувшие со стороны сада,
три шариковые ручки и бессмертную душу.

В полночь была еще слабая надежда.
На рассвете готовился к встрече с Хароном.
На крюке безжизненно висела одежда.
Для полноты сюжета не хватало вороны.

Странные мысли лезут в голову после насущного хлеба:
о вещем смысле и о себе, неповторимо бедном.
Птица летит в черном непеленгуемом небе –
ни для кого не доступна.
Поэтому никому не обидно.

НОЧЬ

Часа в четыре,
когда уснули мысли о налогах,
о подвигах, о доблестях, о сексе,
возникнут в предрассветных городах
и в отдаленных весях
и поплывут невидимые волны.
Они пройдут по сумрачным хайвэям и разобьются,
как школьниками битые бутылки,
только бесшумно.

Бомжи зашевелиятся
и захрипят на рваных одеялах.
Патруль очнется в дремлющей машине,
коснется рации и кобуры.

В «колониальном» доме, третьем с краю,
постройки девятнадцатого года,
она во сне вздохнет и улыбнется,
протянет руку: три часа,

а через три часа, когда
Pink Floyd взорвет эфир
на середине длинного аккорда –
она проснется и подарит день
еще двум-трем привычным подопечным,
озябшим за ночь.

* * *

Мне хотелось узнать, почем треска,
и хотелось узнать, почему тоска.
А в ушах гудит: «Говорит Москва,
и в судьбе твоей не видать ни зги».
Так в тумане невидим нам мыс Трески.

Мне хотелось узнать, почем коньяк,
а внутренний голос говорит: «Дурак,
пей коньяк, водяру ли, «Абсолют»,
вечерами, по барам ли, поутру –
все равно превратишься потом в золу».
Я ему отвечаю: «Ты сам дурак,
рыбой в небе летит судьба!
И я знаю, что выхода не найти,
так хоть с другом выпить нам по пути
и, простившись, надеть пальто и уйти».

«Не уйдешь далеко через редкий лес,
где начало, там тебе и конец.
Так нечистая сила ведет в лесу,
словно нас по Садовому по кольцу,
и под ребра толкает носатый бес».

Там, я вижу, повсюду горят огни,
по сугробам текут голубые дни,
и вдали у палатки стоит она.
И мы с ней остаемся совсем одни,
то есть я один и она одна.